

запрещается лишь занимать определенные посты в органах государственного управления. Но это не так. Люди, чьи имена были названы в связи с люстрацией, исключаются не только из общественной жизни — калечится и их личная жизнь. Их покидают друзья, их семьи разбиваются, они окружены презрением и не могут устроиться на другую работу. Они лишены возможности защититься, они не могут опровергнуть обвинения, выдвинутые против них, и вообще что-либо разъяснить. Можно, конечно, сказать, что многим воздается по заслугам за их действия в прошлом. Но по отношению ко многим другим вершится не только несправедливость, но и бесправие. На таком беззаконии строить правовое государство нельзя. Тот, кто ставит под угрозу идею правового государства, одновременно ставит под угрозу идею демократии, угрозу, от которой молодые демократические государства не всегда способны оправиться.

СТАТЬИ

Робин Фокс

**ФАТАЛЬНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ:
ВОЙНА И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА***

Судя по всему, сейчас мы переживаем один из тех нечастых периодов оживления надежд на скорый переход к всеобщему миру, с помощью которых история время от времени пытается приукрасить печально непрерывную последовательность всякого рода войн и вооруженных конфликтов. Как правило, люди всегда где-нибудь да дерутся — в справедливости этого не слишком часто формулируемого социологического вывода можно убедиться без всякого труда. По-видимому, мало кто сегодня читал блестящую монографию Льюиса Ричардсона "Статистика смертельных столкновений"¹, но всякому, кто сомневается в истинности этого обобщения, будет достаточно просто перелистать ее страницы. Однако верящие, что войны навсегда ушли в прошлое, видят в этой повторяемости лишь досадное отклонение от общего правила. С их точки зрения, мы бы уже давно перековали мечи на орала и позабыли бы о всех войнах, если бы в мире не существовало гонки вооружений, империализма или колониализма, капитализма и классового угнетения, монархических склок, коммунистического экспансионизма, диктаторов-психопатов и т.п. (этот список можно продолжать до бесконечности).

Реальная история не настраивает, однако, на особый оптимизм. Вера в конец войн не менее иллюзорна, чем вера в "конец истории". В конце концов, все возвращается на круги своя, так что давайте хотя бы проявлять осто-

**По-английски статья была напечатана в журнале "National Interest", N 30, Winter 1992/1993, pp. 11-20.*

рожность, если мы пытаемся провозгласить окончание этого столь типичного человеческого развлечения. Всем известны стандартные аргументы приверженцев идеи прекращения войн: при всем нашем уважении к Клаузевицу, война перестает быть эффективным средством достижения политических целей; сегодня весь мир стремится к демократии, а демократическая система по природе миролюбива (Майкл Дойл); рост международных корпораций в сочетании с улучшением транспорта и возникновением глобальных систем электронных коммуникаций создают настолько сильную международную взаимозависимость, что войны делаются невозможными; из-за всего вышеперечисленного войны делаются недопустимо дорогостоящими (Норман Энджелл)... и т.д.

Почти все эти рассуждения отнюдь не новы. В XVII и XVIII столетиях и даже в первой половине XIX века сама идея грядущего прекращения войн никого особенно не занимала. В то время все считали само собой разумеющимся, что война — это нормальный и естественный способ осуществления национальной политики, к которому прибегают, когда в этом возникает нужда, и которым перестают пользоваться, когда она проходит. Войны между государствами, за исключением разве что Тридцатилетней войны (предвещавшей, как мы теперь понимаем, малоприятные события XX века), велись силами профессиональных армий и не особенно беспокоили большинство населения. Гражданские войны могли приносить больше тягот, но и в них потери на душу населения оставались умеренными, а послевоенное восстановление не заставляло себя ждать.

Теории о скором прекращении войн стали набирать силу лишь во второй половине прошлого века. Такие факторы как невиданный рост народонаселения, перемещение больших масс людей, интенсивный рост торговли и колоний и всеобщая индустриализация, по крайней мере западного мира, породили у многих безудержный оптимизм, хотя некоторые наблюдатели уже тогда увидели в них потенциал для умножения грядущих конфликтов. Например, либералы спенсеровского толка не

устанавливали предрекать вслед за своим учителем, что переход от "простых" социальных структур к "сложным" будет сопровождаться заменой "военных" форм социальной структуры на ее "индустриальные" формы, которые по своей природе будут отторгать войну (причем в силу тех же причин, которыми и сегодня подкрепляют идею скорого прекращения военных конфликтов).

Например, говорилось, что всемирная свободная торговля приведет к экономической специализации и, следовательно, взаимозависимости различных стран, которые поэтому лишатся способности воевать друг с другом. Когда я в ранней молодости впервые прочел эти рассуждения Спенсера, так же как и аналогичные аргументы Бокля, Эмерсона и других пророков прекращения войн прошедшего века, они показались мне очень убедительными, но я не мог не задуматься, что привело к таким многочисленным войнам как Гражданская война в Америке, франко-прусская, англо-бурская, испано-американская, японо-китайская, русско-японская, русская гражданская, Первая и Вторая мировые войны, пакистано-индийская, корейская и арабо-израильская (не говоря уже о многочисленных столкновениях меньшего масштаба в Испании, Эфиопии, Ирландии и т.п., равно как и о почти забытых актах колониального геноцида, например в Бельгийском Конго). Твердолобые спенсеряны (которых тогда уже осталось немного) могли бы на это заявить, что предсказанная ими эволюция требует времени, что позитивное развитие не может не сопровождаться временными отступлениями и т.п. Сам Спенсер осудил приобретение правительством Дизраэли Суэцкого канала, видя в нем возвращение к изживающей себя "военной" политике.

Все дело, однако, в том, что мы вроде бы отнюдь не намерены преисполниться доверия к историческому императиву и решительно двинуться к бесконфликтному миру. Это печальное обстоятельство продолжает беспокоить сторонников "пацифистской" концепции исторического прогресса, в число которых во времена моей молодости входили, помимо всех прочих, социалисты и

интернационалисты. С точки зрения первых, победа пролетариата в достаточном числе стран не могла не привести к тому, что по крайней мере эти страны больше не пожелают воевать друг с другом. Впрочем, этого было ждать не обязательно: пролетарии всех стран еще до своей всемирно-исторической победы могли бы настолько преисполниться классового самосознания, чтобы отказаться проливать кровь друг друга ради прибылей капиталистов. Еще в 50-е годы ортодоксы в Лондонской школе экономики самым серьезным образом проповедовали эту веру. Уже тогда мне казалось, что само негибимое упрямство этих твердолобых доктринеров неплохо свидетельствовало о неизбежности всякого рода человеческих глупостей, в том числе и войны.

Интернационалисты, хотя отнюдь не все, были умеренными социалистами. Они предлагали свою собственную версию умиротворения мировой истории, которая содержала такие привычные рецепты как обуздание гонки вооружений, укрепление Лиги Наций, введение санкций против агрессоров, расширение туризма и международных обменов и, наконец, всеобщее изучение эсперанто, этого подлинного языка надежды.² Полагаю, что сюда же нужно отнести различные типы изоляционизма, особенно американского — хотя его сторонники так и не развили своей собственной убедительной теории прекращения войн, они все же утверждали, что военная опасность уменьшится, если все мы дружно начнем возделывать свои собственные сады и перестанем лезть за свои границы. Сегодня мы можем в истинном свете оценить военный гений таких столпов изоляционизма как "полковник" Линдберг, заверявший Рузвельта, что польская авиация немедленно разделается с Люфтваффе.

Война и общественные факторы

Нетрудно понять искушение поскорее провозгласить конец войнам, и немного найдется людей, которые не были бы рады в это поверить. Однако войны были и остаются одной из универсальных констант человеческой

истории, так что прежде чем ликовать по поводу их ухода в прошлое, следовало бы задать себе не особенно приятный вопрос: могут ли повлиять на их постоянство какие-либо общественные изменения? Иначе говоря, порождаются ли войны одними лишь социальными факторами? — тогда ведь можно было бы надеяться ощутимо снизить вероятность возникновения новых войн за счет соответствующих общественных преобразований. Или же дело обстоит иначе, и войны, подобно сексу, хотя и испытывают воздействие социальных перемен, но все же не "вызываются", а потому и не упраздняются, одними лишь социальными факторами?

Те, кто верит, что войны "порождаются" определенными общественными условиями, предложили целый список таких причин, почти столь же длинный, как и список прежних войн. Об этом думал, например, Т.Э. Лоуренс, лежа больной в палатке в Вади Аис и пытаясь понять причины арабского восстания: "Клаузевиц перечислил все виды войн:... личные войны, династические конфликты..., войны на взаимное уничтожение, вызываемые партийной политикой..., торговые войны за завоевание коммерческих преимуществ..., любые войны при сравнении редко выглядят полностью подобными. Часто воюющие стороны сами не осознавали своих целей и совершали разного рода нелепости до тех пор, пока ход событий сам не приводил к определенным результатам"³. Хотя в каждом случае эти особые обстоятельства могли бы вызвать конфликт, было бы странным, если бы каждая война имела свою особую причину, и поэтому существовало потенциально неограниченное число факторов, порождающих войны. Никому еще не удалось придумать общей формулы "причин войны" (в частности ни Ричардсону, ни Куинси Райту). Например, "примитивные войны" нельзя объяснить ни одной из причин, перечисленных выше. Часто вообще кажется, что многие войны велись без всякой видимой цели, а просто ради удовольствия. С этим труднее всего примириться: нам не хочется признать, что война может обладать своим собственным очарованием, легко привлекающим многих и многих людей. Конечно,

каждая война имеет конкретные "поводы", но это отнюдь не одно и то же, что причины. В особенно воинственных обществах такие поводы часто бывали в высшей степени условными, скорее "сигналами" начала войны, нежели ее причинами, а подчас носили просто временный характер.

Критики могли бы на это возразить, что нужно объяснить, почему одни общества воинственны, а другие нет. На самом деле, точнее было бы сказать, что "одни общества более воинственны, чем другие". Действительно, некоторые общества особенно склонны к военным авантюрам, но лишь очень немногие абсолютно не подготовлены к потенциальной войне, причем обычно это относится к очень малым и изолированным обществам, например таким, как эскимосы. Многие народы, якобы абсолютно миролюбивые, например, индейцы пуэбло (которых я хорошо знаю) или бушмены, при определенных обстоятельствах оказываются великолепными воинами. Так называемые нейтралы — скажем, Швеция и Швейцария, столь прославляемые сторонниками теории прекращения войн, содержат прекрасно обученные и постоянно готовые к бою армии. Нет сомнения, что здесь есть собственные вариации, но за всеми ними проглядывает постоянство. Хотя никто не будет возражать против утверждения, что, сокращая посредством социальных перемен поводы для войны, можно уменьшить частоту военных столкновений, однако ни история, ни этнография не дают доказательств, что социальные изменения способны полностью устранить опасность войны.

Как мне кажется, эта точка зрения на деле обнадеживает куда больше, чем концепция типа "с войнами покончено, поскольку устранены их причины", которая может оказаться не менее опасной, чем интернационализм и изоляционизм. Если бы в 1930-е годы руководители антифашистских стран реалистичнее понимали природу человека и ее фатальную привязанность к войне, то не исключено, что они предприняли бы против надвигающейся войны более ранние и решительные действия. Дело в том, что пока еще остается в силе простая, но

верная мысль, что один из лучших способов остановить применение силы — угроза еще большей силой. Из-за этого антивоенной школе так нелегко объяснить тот очевидный факт, что главной причиной, предотвратившей после Второй мировой войны прямое военное столкновение между двумя сверхдержавами, было взаимное ядерное устрашение. Судя по всему, умножающиеся сегодня заверения в надежности "всеобщей демократии" как средстве прекращения всех и всяческих войн были стимулированы именно перспективой окончания ядерной монополии великих держав и распространения ядерного оружия по всему миру.

Одна из наиболее развернутых концепций грядущего прекращения войн содержится в недавно вышедшей книге Джона Мюллера "Судный день отступает: устарелость крупных войн"⁴. Эта появившаяся в 1989 г. монография просто набита всевозможными расхожими рассуждениями о том, что война, как некогда дуэли и рабовладение, уже превращается в "эзотерический институт" и потому обречена на отмирание. *Но что, если война имеет не больше сходства с рабовладением и дуэлями, чем, скажем, с феодализмом, или дразнением медведей, или любым другим успевшим устареть институтом? Что, если она куда больше напоминает секс или религию?* Этот вопрос даже не ставится. Однако неоднократно предсказанный конец религии пока не наступил; правда, никто не делает таких пророчеств относительно секса, но, возможно, все еще впереди. Лишь немногие задумываются над тем, уместны ли вообще аналогии между войной и сексом либо рабовладением, и в то же время с полным энтузиазмом возрождаются аргументы, разработанные Боклем еще в середине прошлого века. В длительном периоде более или менее мирной истории между 1815 и 1862 гг. Бокль увидел начало новой эры (Крымская война, по его мнению, была не в счет). Свой вывод он объяснял тем, что цивилизованные люди начали испытывать отвращение к войнам.

Спенсер и Бокль пришли к подобным выводам примерно одновременно. Последующее победное движение

истории отнюдь не подорвало энтузиазма сторонников этой логики. Так и сегодня: сорокалетний период от-носительного мира между "мировыми державами", особенно демократическими, прославляется как дока-зательство прекращения военных конфликтов между цивилизованными странами. Войны, которые ведутся руками государств-клиентов, просто не принимаются в расчет — подобным же образом и Бокль не принимал во внимание колониальные войны, поскольку в них "просве-щенные и цивилизованные" государства друг другу не противостояли. Но если учесть "войны по поручению", придется признать, что "горячие войны" были постоян-ными на протяжении всей послевоенной истории. Великие державы просто изобрели иной способ воевать друг с другом, предсказанный еще Оруэллом. Примером могут служить конфликты в Корее, Вьетнаме и Афганистане, где одна из сверхдержав втягивала другую в вооруженный конфликт в одной из стран третьего мира, и каждая извлекала для себя выгоды из неудач соперницы.

Говорят, что эти исторические уроки сегодня поте-ряли значение, поскольку даже Россия и Китай вскоре станут демократическими странами и будут вести себя не менее прилично, чем служившие для них образцом страны Запада (которые тем временем вторгались в Гренаду и Панаму, воевали с Аргентиной из-за Фолклендских островов и с Ливией из-за Чада). Интересно, подорвет ли позиции пророков отмирания войн тот простой факт, что всего через несколько месяцев после выхода в свет книги Мюллера на Ближнем Востоке разразилась настоящая полномасштабная война, в которой участвовали более тридцати стран. Кто знает, тут многое зависит от опреде-лений, а они еще не все сформулированы. В конце концов, в 1914 г. в Германии, в теории, была демократия, был законно избранный парламент. Оказалось, однако, что все это не имело особого значения, поскольку ее внешняя политика вполне недемократическим образом контро-лировалась армией и кайзером. В ретроспективе это не всегда легко понять, но не следует забывать, что чем больше мы о чем-то мечтаем, тем легче принять желае-

мое за действительное. А это, в свою очередь, оборо-чивается нежеланием хотя бы допустить ошибочность ос-новных предпосылок.

Война и древнейшие профессии

Читатель уже мог заметить из изложенного выше, что автор не питает доверия к модели, представляющей войну своего рода болезнью, которую можно устранить пос-редством надлежащего лечения. Всевозможные опти-мисты и прогрессисты вообще любят рассматривать с эпидемиологической точки зрения все повторяющиеся социальные явления, которые они не любят и от которых они хотели бы избавиться — разводы, подростковую беременность, терроризм, неграмотность, насилие, моло-дежную преступность, наркотики, общественные бес-порядки, бедность, автомобильные катастрофы, поло-вое и общественное неравенство, предрассудки и т.д., и т.п. Мы видели, что Мюллер использует в качестве основных аналогий дуэли и рабство, в законности чего мы уже успели усомниться. Что если война больше по-хожа на секс или религию? Правда, аналогия с сексом, вероятно, не совсем удачна, поскольку война, в отличие от секса, организована и институционализована. Так что давайте лучше сравним ее с религией или проституцией. Обе они претендуют на титул древнейшей профессии, и обеих ревностные реформаторы уже успели объявить устаревшими (постоянный компонент проституции — вовсе не плата, изобретенная относительно недавно, но потребность многих мужчин в сексуальных связях без всяких сложностей и обязательств. Там, где не практи-куется "свободная любовь", два основных метода дос-тижения искомой цели — это дары [плата] и насилие. Если верить тому, что сейчас пишут об изнасилованиях, этот способ сексуального общения, возможно, переживает сейчас вторую молодость).

Рассмотрим аналогию с "концом религии". Рацио-налисты заявляют, что религия обязательно отомрет, как только на смену предлагаемым ей объяснениям придет

наука. Эти утверждения основываются еще на описанной Джеймсом Фрейзером якобы неизбежной эволюционной последовательности от магии — к религии и от религии — к науке. Рассуждая подобным же образом, можно прийти к заключению, что победа "свободной любви" уничтожит потребность в проституции и тем самым саму проституцию. Но, как мы хорошо знаем, оба института — и религия, и проституция — живут и процветают, несмотря на существование развитой науки и свободного секса. Поэтому мы должны спросить себя, не была ли аналогия с болезнью ложной с самого начала, не может ли оказаться так, что религия — это не только "ложное объяснение природы", а проституция — не только выход для недовольных жизнью мужчин-пуритан. Рационалисты, как это для них ни трудно, должны подумать, что, возможно, оба института своим существованием удовлетворяют какие-то потребности, не имеющие ничего общего с некоторыми объяснениями их и с фрустрацией.

Один из подходов к решению вопроса о постоянстве войн состоит в том, чтобы связать войну с человеческой агрессивностью, утверждая, что войны каким-то образом непосредственно порождаются глубинными агрессивными инстинктами. Нет сомнений, что между войной и агрессивностью существует связь, так же как существуют связи между сексом и проституцией или мистицизмом и религией. Но ни первое, ни второе, ни третье в своих институциональных формах не вытекает прямо из инстинктивных стимулов. Силы добра пролили немало чернил ради опровержения тезиса, что "агрессия порождает войну"³. Но это логическое построение рухнет как карточный домик. Даже самая примитивная из войн — сложный, согласованный и тщательно организованный акт человеческого разума и воображения, где агрессивность часто является необходимым, но далеко не самым важным компонентом. Что же касается крупномасштабных войн, то в них роль агрессивности еще меньше, а факторы подготовки и организации явно превалируют над спонтанной яростью.

Давайте выразим это так: чтобы выиграть в войне, ее руководители должны направить агрессивность солдат на поля сражений. Но сражения — это отнюдь не вся война; а в современной технологической войне, где нападающие и обороняющиеся находятся далеко друг от друга, агрессивность вообще часто оказывается излишней. Мы могли бы даже сформулировать парадоксальное утверждение, что война тем безопасней, чем больше она сводится к простой агрессии. Дело в том, что агрессия, судя по всему, обладает своими собственными врожденными ограничениями и ритуальными действиями (которые легко переводятся в формализованные схватки того или иного рода, подобно средневековым рыцарским турнирам), в то время как о холодном воображении техновоителей этого не скажешь. Как настаивал Клаузевиц, они берут себе в помощь "разум", что куда страшнее, чем если бы их действия диктовались инстинктом, в котором всегда есть значительный компонент самосохранения.

Но если постоянный компонент войны — это не агрессия (возможно, к несчастью), тогда в чем же состоит ее "религиозная" притягательность? Где та причина, которая столь облегчает развязывание войн и заставляет массы людей поддерживать их с рвением, отвагой и жертвами, невиданными в мирное время? Уильям Джеймс, изучавший вопрос о "моральном эквиваленте" войны, видел в этом парадоксе самую суть обсуждаемой проблемы. Этот парадокс (если это вообще парадокс) пока еще не удалось разрешить: война раскрывает все лучшее и худшее, что в нас только есть. (То же самое может быть сказано о религии; и чем тщательнее мы сравниваем религию и войну, тем больше мы видим в них сходства).

Я недавно купил подержанный экземпляр печальной маленькой книги, озаглавленной "Предпосылки мира". Дата издания не указана, но скорее всего, это 1944 год. Это подборка статей на темы войны и мира, принадлежащих Уэнделлу Уилки ("Планета у нас одна"), Герберта Гувера и Хью Гибсона ("Прочный мир"), Генри Уоллеса ("Победа свободного мира") и Самнера Уэлса ("Програм-

ма мира"). Каждое эссе заканчивается одним и тем же выводом, что мира можно добиться и сохранить его можно только, выражаясь словами Уэлса, "посредством самопожертвования, отваги, решимости и дальновидности": но все эти качества с легкостью проявляют себя во время войны, и почти никогда — в мирное время (особенно дальновидность). Даже торжественное провозглашение "войны" с бедностью, с наркотиками, с безграмотностью мало на что влияет. Людей не обманешь: они знают, что такое война и сразу понимают, что это не настоящие войны. Всего через несколько месяцев после выхода в свет этой книги, содержащей призывы к прекращению войны, были взорваны первые атомные бомбы и началась холодная война, которой предстояло превратиться в горячую в Корее, Вьетнаме и в Афганистане. Шесть миллионов были обречены на смерть в территориальных войнах между Индией и Пакистаном, миллион — в Нигерии, два миллиона — в Камбодже и т. д. И дополнительный парадокс состоит в том, что бойня в Индии оказалась прямым следствием попытки Ганди поставить "самопожертвование, отвагу, решимость и дальновидность" на службу "ненасильственному сопротивлению" и открыто провозглашаемому пацифизму.

Воображение, символы и рассудок

Если аналогия между войной и религией выигрывает по сравнению с остальными, она может дать нам какие-то ключи к пониманию обсуждаемого предмета. В конце концов, со времен Адама война и религия всегда переплетались друг с другом. Религия (если понимать ее в широком смысле, включая такие апокалиптические или "умозрительные" доктрины как марксизм и империализм) удовлетворяет, судя по всему, фундаментальную человеческую потребность в целостном и не вызывающем сомнений мировоззрении, делающим ранее одинокого и колеблющегося индивидуума частью "церковного" единства, позволяющим ему обрести уверенность в себе и в жизни. Люди, в отличие от не способных на войны (если не

считать таких наших ближайших родственников как шимпанзе) животных, наделены (на свое благо или на беду) воображением и интеллектом.

Корни войны (как и религии или проституции) кроются именно в этих глубинно человеческих атрибутах, а отнюдь не в агрессивности как таковой. Конечно, если бы наша природа вообще исключала агрессивность, вопрос бы и не возник, но агрессивность как биологическое качество находит для себя множество куда менее устрашающих выходов, чем организованные военные действия, и для некоторых небольших обществ их оказывается вполне достаточно. Воздействие войны состоит в том, что она концентрирует и направляет агрессивные тенденции, объединяет их с другими столь же фундаментальными свойствами человеческого поведения и с помощью символов, воображения и рассудка делает их двигателем того сочетания "самопожертвования, отваги, решимости и дальновидности", о котором писал Ганди. У психологов есть свое собственное, более глубокое понимание всех этих атрибутов, но нам будет достаточно одного лишь здравого смысла. Главное здесь, несомненно, это потребность во "враге", которая настолько очевидна, что часто не принимается во внимание. Наша жизнь состоит не из одних успехов, и кто-то должен быть козлом отпущения за наши неудачи, будь то наши ближние, или "международные заговорщики", или "желтая опасность", или кто угодно еще. Потребность обвинять — чувство, которое очень легко сконцентрировать и направить вовне, не на себя, а на кого-то еще. После этого само собой напрашивается элементарное решение: устранение объекта обвинений. Число причин для обвинений столь же бесконечно, сколь и "причин" войны, но сама потребность обвинять — постоянна.

Чему же угрожают наши "враги"? Людям, имуществу — да, но не обязательно. Но враг всегда угрожает тем идеям, которые составляют основу нашей жизни. Эти идеи (наши "религии" в широком смысле этого слова) объемлют и людей, и собственность, поскольку именно они определяют наши представления и о том, и о другом.

Это относится даже к самой примитивной войне: вражеское племя угрожает чему-то, что его соседи считают своими святынями, включая и их образ жизни, который любое племя, как и наша собственная культура, считает чем-то священным и неприкосновенным. Боги есть у всех. Поводы к каждой отдельной войне могут бесконечно варьироваться, но в конечном счете "мы" воюем с "ними", потому что "они" отличаются от "нас", и эти различия самим своим существованием подрывают ценность наших фундаментальных идей. Поэтому все войны идеологичны. Именно по этой причине они приносят с собой неустрашимый элемент фанатизма, и по этой же причине столь заметную роль в них играет религия. Именно этот фанатизм поддерживает "самопожертвование, отвагу, решимость и дальновидность". Поскольку человек — это животное, чьим существованием управляют прежде всего идеи, а затем уже инстинкты (или, выражаясь иначе, поскольку идеологическое существование стало уже нашим инстинктом), всякая угроза нашим основным идеям вызывает у нас фанатическое противодействие. А такую угрозу мы ощущаем постоянно — из-за собственной паранойи и ксенофобии. Тот сильнейший страх, который мы склонны испытывать перед отличающимся от нас чужеземцем, имеет, как и наша агрессивность, корни в нашем животном наследии, но когда эти инстинктивные чувства комбинируются с идеологическим фанатизмом (а это уже "вклад" нашей человеческой сущности), возникает основа для постоянной притягательности войны.

Но почему же именно войны?, — спросит скептик. — Есть ведь и другие способы атаковать идеологического противника. Они и вправду существуют: мы можем возносить молитвы о его гибели или прибегать к услугам колдунов и шаманов, или пытаться превзойти его в торговой конкуренции. Но чтобы вдохнуть в эту конкуренцию подлинную жизнь, мы должны назвать ее "торговой войной". Однако самое печальное в том, что все эти формы относительно бескровной реакции на ощущение вражеской угрозы нас до конца не удовлетворяют.

Сколь бы цивилизованными ни были избираемые нами ответы на эту угрозу, на определенной стадии нас начинает удовлетворять только физическое поражение противника. Если ощущение угрозы делается слишком сильным, единственным возможным выходом оказывается физическое устранение ее источника. Каждый из нас знает из собственного опыта, как часто мы мечтаем немедленно стереть с лица земли раздражающее нас препятствие. Правительства делают то же самое уже не в воображении, а в реальной жизни. Сейчас, когда практика дуэлей ушла в прошлое, нам, простым гражданам, приходится удовлетворять свои позывы к насилию, наблюдая его на телеэкранах и в спортивных залах и только изредка участвуя в коллективных экспедициях, осуществляющихся с санкции правительства, а обычно и официальной церкви.

Поборники мира, пожалуй, возразят на это, что я строю необоснованные обобщения, отправляясь от собственных нечистоплотных побуждений, и что лично они и их друзья совершенно свободны от столь низменных мыслей и чувств. Они заявят, что люди в целом решительно настроены против войн. Воистину так: мне доводилось видеть сомкнутые ряды доблестных противников войны, с ненавистью и ожесточением проклиняющих тех, кого они считали носителями ненависти и ожесточения. Сегодняшняя антивоенная религия исповедуется и защищается с подлинной страстью, нередко куда более фанатичной, нежели та, которую демонстрируют сами поджигатели войны. Антивоенное движение — это моральный эквивалент войны, поскольку оно и само проявляет отменную воинственность. Тем же, кто борется с войной в комфортабельной тиши своих кабинетов, я хотел сказать, что вопли с пеной у рта не являются неприменной чертой фанатизма — он может быть и вполне спокойным и сосредоточенным. Цивилизованная оппозиция может иметь в психологическом плане столько же общего со взвешенным и до мелочей рассчитанным принятием решений военными руководителями, сколько оппозиция вопящая имеет общего с самыми горластыми "ястребами".

Разумеется, толпа непостоянна, так что если война идет не так, как ожидалось, в стране начинает расти антивоенная оппозиция (как было, например, в Англии во времена бурской войны или войны с ее американскими колониями). Но эффективное противостояние победной войне — это поистине нечто необычное. Вспомним, что война в Персидском заливе не породила у американцев ничего подобного вьетнамскому синдрому, по крайней мере первоначально. В начале этой кампании она пользовалась твердой поддержкой как минимум 80% американцев, и поскольку она, в отличие от вьетнамской, оказалась относительно непродолжительной и относительно успешной, эта поддержка в целом сохранилась до самого ее завершения. Совершенно не обязательно, чтобы все население постоянно демонстрировало провоенные чувства — достаточно будет, если они какое-то время продержатся у его большинства.

Здесь мне могут опять возразить: пусть даже вы правы, но что произойдет, если мы сведем до минимума все возможные "поводы" к войне? Не уменьшится ли тем самым вероятность самой войны? Я и сам был бы рад так думать, но боюсь, что пока основные факторы остаются в силе, пока наша человеческая природа не изменилась, мы будем продолжать искать или даже специально изобретать поводы к развязыванию войны (об этом тоже писал Оруэлл). Например, всегда останется проблема, что делать с миллионами воинственных и непокорных молодых безработных мужского пола. В прошлом мужчины старших возрастов, положению которых угрожали эти юнцы (что было неизбежным результатом нашей длительной эволюции в качестве существ, конкурирующих за возможность сексуальных контактов и воспроизведения), находили простое решение: отправить их воевать с их сверстниками, угрожающими позициям взрослых в какой-то другой стране. Сегодня эта проблема не стала менее острой, несмотря на появление молодых преуспевающих профессионалов.

Аргументы демократии

Теперь вернемся к концепции "конца истории"^{*} — не потому, что она так уж хороша, но просто из-за ее популярности. Коль скоро "либеральная демократия" одержала триумфальную победу и теперь весь мир мечтает о достижении примерно тех же целей, и коль скоро демократические государства не воюют друг с другом так, как это делают страны с менее развитыми социальными системами, то с войнами, вероятно, покончено — по крайней мере, в принципе (хотя на практике всеобщий мир может установиться по прошествии жизни нескольких поколений или даже нескольких столетий — в зависимости от того, из каких предпосылок вы исходите). Стоит обратить внимание на то, что война здесь выступает в качестве своего рода случайности, вызываемой к жизни конфликтующими социальными системами — если сгладить различия между ними, то исчезнут и военные конфликты. Именно этот тезис мы уже со всем тщанием постарались опровергнуть.

Верно, что если бы люди повсюду были в точности одинаковыми, их взаимное восприятие не порождало бы комплексов паранойи и ксенофобии. Но такая одинаковость — это не то, чего можно ожидать от пришествия всеобщей "либеральной демократии", если даже ему суждено состояться. Религии и расы, законы и обычаи (а национализм — это одна из фаз их истории) будут сохранять свою несхожесть; короче говоря, идеологические различия все равно останутся, сколь бы близкими ни стали экономические и политические структуры. К тому же еще концепция "конца истории" сильно преувеличивает достигнутую сегодня степень этой близости. На деле между, скажем, Японией и Швецией или Британией и Соединенными Штатами сходство довольно поверхностно. Американцы, столь ревностно экспортирующие свою собственную модель демократии, не всегда отдают себе отчет

^{*} См. Фрэнсис Фукуяма. *Конец истории? — Проблемы Восточной Европы* №27-28, 1989, стр. 84-118.

в том, сколь причудливой и чуждой, чтобы не сказать коррумпированной и непредставительной, она может казаться гражданам других демократических обществ.

Если две страны имеют между собой лишь то общее, что там действует всеобщее избирательное право и имеются фондовые биржи, то это сходство еще не особенно глубокое, что недавно продемонстрировали разногласия между Америкой и Японией. Конечно, мы еще не ввязались в новую войну со Страной Восходящего Солнца, но не стоит забывать и все пророчества начет того, что свободная торговля порождает взаимозависимость между странами и тем самым в долговременной перспективе делает войны вообще невозможными. Именно из-за свободной торговли и специализации мы перестали разрабатывать свои нефтяные залежи и впали в зависимость от поставок дешевой ближневосточной нефти. И теперь мы видим, куда это нас привело и насколько снизилась от этого вероятность военных конфликтов. Экономическое и политическое подобие не устраняют тех ощущаемых нами взаимных различий, в которых мы видим столь же взаимную угрозу. Они могут даже их усиливать — что, кроме ненависти, вызывает у нас вор, похитивший нашу одежду и выглядящий в ней элегантнее нас самих?

Гегелевский тезис о "конце истории", основанный на концепции человека как продукта конкретных исторических и общественных обстоятельств, преднамеренно приписывается Фукуямой влиянию ранних теоретиков естественного права, видевших в человеке всего лишь набор более или менее постоянных "природных" качеств. Мой собственный тезис явно имеет больше общего с этими "ранними" (и, следовательно, менее современными и более грубыми) теориями, чем с гегелевским историческим детерминизмом, либо с тем историческим релятивизмом, который, как верно подметил Фукуяма, появляется на сцене, когда исторический процесс лишается прогресса как своей движущей силы. Я потратил немало времени и усилий, защищая именно такую позицию (например, в моей книге "Поиски общества"⁶). Причина состоит в том, что любой тезис, подобный

гегелевскому, или любая его производная (или, кстати, любая из так называемых философий истории) содержат в своей основе фатальную ошибку: они совершенно некритически принимают идею исторического процесса и рассматривают его как что-то совершенно автономное. Фукуяма задается вопросом, не являются ли исторические периоды всего лишь всплесками на оси времени, но он ни разу не задумывается над тем, не следует ли рассматривать и самую историю в качестве лишь всплеска на шкале общественных и исторических обстоятельств. Дело в том, что эти обстоятельства уходят в прошлое на 3,5, а может быть, и 5 миллионов лет. Игнорировать эту гигантскую протяженность человеческой истории и сводить ее всего лишь к нескольким десятилетиям хорошей погоды во время всего лишь одного особенно спокойного межледникового периода (сейчас, кстати, подходящего к концу) значит совершенно произвольно начинать и заканчивать историю.

Если рассматривать этот исторический период в контексте целого (не забывая о том, что и это целое есть часть 72 млн. лет истории приматов и 128 млн. лет истории млекопитающих), мы приходим к выводу, что его можно рассматривать не как победное шествие на пути ко все большей рациональности, но скорее как серию все более сильных отклонений от верхнепалеолитической нормы. Во времена верхнего палеолита наш вид достиг высшего уровня пищевой цепочки и обрел равновесие со своим природным окружением. Мы успешно охотились, совершенствовали свое превосходное оружие (мы все еще делаем это и сегодня), практиковали усложненные религиозные культы и создавали изумительные амулеты и тотемы. Наша численность составляла что-то около 1,5 млн. Теперь мы живем в мире, население которого к 2000 г. прогнозируется в 10 млрд., наша среда обитания сильно и необратимо разрушена, сложность наших проблем превышает нашу способность их разрешить. Как заметил один из моих коллег-психологов, мы воспринимаем этот мир с эмоциональным инструментарием водяной крысы. Но и это еще слишком мягкая характе-

ристика, поскольку на деле мы относимся к нашему миру как интеллектуально и эмоционально развившиеся приматы, которые приобрели, среди прочих вещей, чрезмерную чувствительность к взаимным различиям и научились реагировать на них с изрядной воинственностью. Если оставить водяную крысу в ее природной среде, ее шансы на выживание повысятся.

История и вправду может закончиться — я предсказал нечто в этом роде примерно одновременно с Фукуямой.⁷ Но я сомневаюсь, что она закончится в соответствии с его прогнозом, иначе говоря, вследствие того, что мы создадим безмятежные либеральные демократии, которые позволят нам мирно, хотя, возможно, и скучно существовать во все более однородном мире. История прекратит свое течение просто из-за того, что сама она есть не что иное как эволюционная абберация, вышедшая из-под контроля своих собственных творцов. Фукуяма допускает, что растущие проблемы национализма и третьего мира могут временно возмутить движение к всеобщему порядку. Но он не отдает себе отчета в том, что есть нечто лежащее глубже демографического взрыва (которому он вообще не уделяет особого внимания), трайбализма, неопундаментализма и национализма (посмотрите, что происходит в бывшей Югославии и бывшем СССР). Это нечто — те самые более или менее постоянные природные качества, игнорируемые гегелевским историзмом и неорелятивизмом и не устраняемые никакой либеральной демократией. Гегеля еще можно извинить, поскольку он жил до Дарвина (а его важнейшее предсказание относительно роли идей вне всякого сомнения верно — люди и вправду более склонны биться друг с другом за идеи, чем за материальные интересы). Но сегодня, более чем через сто лет после смерти Дарвина, уже совершенно непростительно игнорировать 99,9% человеческой истории, прочно впечатанные в то, что и составляет природу человека.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Как напомнил нам Фрэнсис Фукуяма, в 1806 г. Гегель увидел в разгроме прусской армии в битве под Иеной грядущую универсализацию государства, инкорпорирующего принципы свободы и равенства.

Чрезвычайно одаренный современник Гегеля Клаузевиц (кстати, проявлявший большой интерес к философии Канта) не просто был свидетелем этого сражения: он в нем участвовал, попал в плен и получил предметный урок на всю жизнь — история не прекратилась в 1806 г., и не закончится никогда, пока мы сами остаемся людьми. Достаточно вспомнить события двух последующих столетий, чтобы решить, кто из этих двоих оказался лучшим пророком. Послушаем несравненного Клаузевица:

"Война — это... изумительная триада, составленная из следующих частей: насилие, ненависть и вражда (в которых можно видеть слепой инстинкт); игра случая и вероятности, присутствие которых делает ее проявлением свободной активности души; подчиненная природа политического инструмента, вследствие чего она принадлежит к чистой сфере разума.

Первая из этих фаз преимущественно относится к людям, вторая — к командующему и его армии, третья — к правительству.

Эти три тенденции... глубоко укоренены в природе войны и в то же время в каждом конкретном случае проявляются в различной степени. Любая теория, не принимающая в расчет хотя бы одну из них или устанавливающая между ними произвольную связь, обречена на такое противоречие с реальностью, что уже одно это делает ее полностью негодной."⁸

Соединенные Штаты вступили в войну в Заливе, поскольку их правительство, действуя в "чистой сфере разума", решило защитить западные нефтяные интересы (их партнеры по коалиции имели собственные рациональные интересы). Война была проведена как свободная

активность души генералов и их армий. Однако сами люди, участвовавшие в войне, черпали свое упорство из слепых инстинктов ненависти и вражды к быстро лишенному человеческого облика противнику, чья неприкрытая чуждость угрожала не только их кошелькам, но и их представлениям о добре и зле. Это же относится и к противной стороне, причем в двойном размере. Рассудок, случай и инстинкт взаимодействовали здесь в нерасторжимом единстве.

Именно такое взаимодействие, а отнюдь не диалектическая эволюция Духа к Абсолютной Свободе, было реальностью для Клаузевица: рассудок, случай и инстинкт не могут не взаимодействовать друг с другом, производя на свет сперва "политику", а затем ее "продолжение другими средствами". Так что тем, кто спросит, какие политические выводы можно сделать из моих рассуждений, я могу дать только максимально общий ответ: кротость может когда-нибудь снизойти на всю землю, но пока что лучше оставаться настороже и не терять бдительности.

Если выраженная в этой статье позиция верна, то войны — это не болезнь, подлежащая лечению, а часть вполне нормального человеческого существования. Они порождаются самой нашей природой, а отнюдь не какими-то особыми обстоятельствами наших действий ("историей"). Как религия и проституция, они оказываются естественной человеческой реакцией на столь же естественные человеческие страхи и надежды, включая фанатизм, ксенофобию, паранойю, поиски козлов отпущения и уязвимость идеологий. Однако остается следующий парадокс: мы придаем столь огромное значение защите своих идей (в терминах которых мы определяем себя и свое общество), что готовы яростно сражаться, чтобы уничтожить тех, кого считаем их врагами, проявляя при этом высшие формы человеческой отваги. И кто посмеет бросить в нас за это камень? За что славнее умереть: за материальные интересы или за важнейшие идеи? В конце концов, именно наши идеи и делают нас людьми.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Lewis F. Richardson. *Statistics of Deadly Quarrels*, Pacific Grove. Boxwood Press, 1975.
- 2 Мой двоюродный брат, учившийся в Ливерпульском университете, и в самом деле посвятил эсперанто часть своей лингвистической диссертации. Я и сам купил тогда учебник эсперанто и даже вступил в местный клуб эсперантистов, тут же обнаружив, что главным занятием его членов была яростная битва с одним из конкурирующих обществ. Мы обычно с легкостью забываем идеалистические миражи прошлых лет, но при этом с энтузиазмом возвращаем их к жизни во имя будущего.
- 3 T.E. Lawrence. *The Seven Pillars of Wisdom*. New York. Doubleday, 1966, pp. 190-191.
- 4 John Mueller. *Retreat From Doomsday: The Obsolescence of Major War*. New York. Basic Books, 1989.
- 5 Одной из последних таких попыток была "Севильская декларация о насилии", см.: *Academic Questions*, 1:4, 1988.
- 6 Robin Fox. *The Search for Society*. New Brunswick. Rutgers University Press, 1989.
- 7 Там же, стр. 216
- 8 Karl von Clausewitz. *On War*. I.i.28